

человек, полнота и легкость, тогда все сползает, колеблется. В пейзаже осеннего дня эти места очень правдоподобно подходило к баснословно-лиственным узорам, горнякам на солнце. Красное заморинье природы перед злыми сном и дотрагиваясь остатки близкой к распаду помещичьей жизни. Траектория намечалась своеобразная. К особому разрешению театром новых задач (чеховский пик) пришла нас исключительно преобладавшая мысль изыскательная, упорная — дти вразрез рутине, банальности. Наше стремление определенно: подчеркнуть уходящую красоту, обреченную на гибель. Как сам Чехов, так и театр чувствовали упорность сумеречной эпохи и словно торпашлись скорее занесть умирающий быт в художественном отстранении. В усадебной культуре дожила последние дни эстетическая упорность, сентиментальная эстетика, перелетелась с жестокостью, агонизмом, ненасытной жадностью властвовать и над человеком и над природой — мой парк, мой лес, моя земля.

Артисты слезами паутину нежную, сеть психологических переживаний. Кто хоть раз видел театр Станиславского — Астрова и Водю — покойного Артема, тот поймет мою слона.

Что-то утраченное, томительное охватывает свежего посетителя, который входит в гостиную (третий акт). На первый взгляд, казалось бы, все, как следует. Комната большая пошлупукарная оза — высокие, в стеклянной двери видна терраса, парк. Дверь выштукатурена, между колоннами, обитыми чалым плющом, и над ними хоры с решеткой из точечных балюсда. Мебель и люстра — в чехлах, на потолке — корчешный протек. Могло бы быть поэтичнее, но поэзия нет.

Моя задача являлась: сделать так, чтобы в этой обстановке определенно не было сербачковской, т. е. холмоной correctness, чинным покоем, самоуверенным довольством и при всем том внутренней пустотой и нестерпимой скукой. Я ухватился за одно самое близкое, в котором начал видеть усматривать некую программу. Когда, например, входишь в хоромы немолодого вояер-госпиталиста, всегда поражаешься какой-то суетности, показным поряд-

ком, формой нежизненной. Все прилично, все удобно, опрятно — а неуютно; стоит прожить в нем несколько дней, и комната незаметно приобретает отпечаток несомненного жюль. Как и чем это достигается? Может быть, забытая колодуриная панорама или скамья чуть-чуть сминутая бархатной скатертью, или затнущийся угол ковра; может быть, ушедший на пол досюток бумаги, лампа не на месте, стул, покрученный боком, и сразу становится ясным, что здесь живут. Такое же впечатление отсутствия домашности производила на меня внешним убранством любая приписка: в учреждении, у юриста, у зубного врача. Даже картины на стенах, журналы по столам, статуэтки по углам — и те не придают уюта.

Значит вся сила в том, чтобы вынуть живую жизнь и оставить одну пустую оболочку. Разгадка была найдена, я воспользовался ею в компоновке декораций и бутафории. Потушались гелииды, но беззвучная гостиная в старом доме со скрипом и пенем (на разные лады) дверей, треском временами оседающих балок, с жужжаньем осенних мух. Нет веселья, нет улыбок беспричинных; нервно тикают часы — ридом, в столовой незаметно таит тигуежные часы, вечера... А в недрах покойнического дома взрывает разлад, и тем нескончаемое разрастается семейная драма, которая вымолит потугное зашкеле.

Без особенного труда выполняла я макет декорации, но пришлось пошкаться на выдумки, чтобы в тумбуре, за колоннами повесить большое зеркало. Настоящего зеркала повесить нельзя — будет отражаться рахис, а при известном наклоне и зритель; спасти положение трюком. Раму зеркала зашпунли блестящей металлической сеткой, перек ней располосили тумбучку с залой и по бокам два стула, а за сеткой повторили ту же композицию, только стулья поперекли спинками, чем и достигалось обманочное ощущение. Ни садиться на мебель, ни двигаться на трюм, конечно, отидеть не получится, чтобы не разрушить иллюзию. Существовала заполодная черта — переступать ниско не мог.

Поним в этом же действии требовалась еще шумовой эффект: барабанный по крыше дождя. Гроза. Надела порыв ветра, распахивал

окно, крутя занавески, после чего надал горшок с цветком, а затем сыпалась ошук тысяч касель дождя. Сначала горшок сдерживался за веревочку и он падал на землю, но стул об пол надувал плазмой. Потом его спускали на пол, где горшок разбивался.

В последнем акте декорации не требовала никаких новшеств, никаких хитростей. Чтобы придать характер деревенский, будничный характер, мы развели на гвоздях хомуты, снору. Прозрачилось деловито, здесь являлся сербачковский благополучия. Незаметная деталь помогла перенестись в рабочую обстановку управляющего внемлем. Мелочин, драгит, чеховская тоска по другой жизни: на фоне хомутов чувствовался несносный хомут жизни, от которого хочется уйти, забиться, отдохнуть. Сквозь хомут «небо и алмазас», а само небо с овинку. Впрочем, вся сила впечатления от суеты отсюда, от унылого ощущения какой-то пустоты, когда проставшись с дорогим человеком, создалась, разумеется, не декорацией, а глубоко прочувствованной шрой артистов.

Постепенно театр создал чеховский стиль. Полнота, недосказанность, «чего-то нет, чего-то жалко». Художественная являлась непререкаемым резонатором именно меланхолических нот, той психологической сурдинки, которую наложил больной автор на свою тонкоустройную лиру. Может быть, такая поветрие носилась в воздухе; МХТ забегал раньше и серьезнее других.

Чехов находился далеко, пьес в нашем оформлении не видел, знал только, что успех раслет и крепнет. Режиссер распорядился, как ему подсказывала найденное им «настроение», чеховская настроенность.

«Три сестры» строились по лейтмотиву, являющийся беспадежно, почти похороново: из Москвы, в Москву, в Москву!... Режиссер противился, ставил провинцию, пугуную и пошлуну, земие бедноватой; сурмер надо тутелась отидеть: «Все что-то такое, передел: снелю снелю, разное образно». Но на месте, астыла живая, прозаичная, беспримесная желанная. Провинция, что не большое и вместе с тем мелкое, суетливое и вопиющее, чувствительное и бесчувственное, мелководно пертпелелся в карусели мучительных интересов. Здесь красны выпрещает, блещут,

мысли снижаются, эгрия обласчелась в хахал, влюбленность кутелась в капот, талантливость сохтел, а растение без поляника. В завышенности от такой установки мы значительно разошлись с автором в изображении провинциального облика, мы знали прямое указание Чехова, что действие должно происходить в губернской городе, и даже знали в каком (письмо Чехова к артисту Вильямскому от 16 октября 1900 г.). Действие происходит в провинциальном городе аране Перни.



В. А. Симонов
Гримеры И. Павлов

среды артиллерийская». Но не возмужало даже и вопроса, надо ли тут елати; затошлось — вот главное. Важно то, что город в 20 верстах от железной дороги; важно то, что селится в городе решительно никто не пошлел музыки, ни «дна дуга». Все важнее, что здесь не умеет одеваться и на именьны являются мечаночками в самом невыгодном смысле этого слова. Еще шаг — и масштаб губерния снизился до обычных размеров, встречающихся по уездным городам. Цель? — приять неизменность, окупать усиленно покоем. Несмотря на то, что три сестры — генеральские дочери и дом их поместительный, и получил быта они были капитанские дочери. Пренебрегли упоминанием Андрея, что он заложил на покрытие долга в 35 тыс. рублей; не приняли

во внимание комплимент Вершинина: «и квартира у вас чудесная, занятая». Вместо чудесной квартиры и принужден был представлять самую обыкновенную, с деревенским уютом, пожалуй, комфорта, на незыскательный взгляд провинциала. Немного сучно, тесновато, но никак, и, главное, все под руками.

Дворянские усадьбы были просторнее, размахистее; городские же дома помещиков мало чем отличались от кушечских или зашкочных мешанских. Скрытый участок земли, самый заурядный фасад или бреничатый, или обшпигый тесом. Здесь от художника не требовалось никаких фантазий, но необходимо было эту простенькую, бытовую картинку внутренне сорить, без чего она потеряла бы свою тихую неземную прелесть внемного облика. Осенний пейзаж. И здесь я в последний раз отошел от чеховских пометок. В саду, по ремарке автора, двинная аллея, в конце которой видна большая река («такая широкая, такая богатая река») и лес, аллея голая, хотя кроме этой породы есть клены и березы, а одно дерево сухостойное; в глубине — качели. Моя декорация очень слабо напоминала указанные черты. При всем моем большом уважении и глубокой симпатии к Антону Павловичу я не мог написать трафаретный сад с традиционной «длинной аллеей». Ведь такая аллея фигурировала уже в «Чайке», а театр ни при каких условиях не допускал, чтобы повторялись декоративные мотивы. Вместо обширного запущенного сада к дому прильнула палсадник с одними березами, которые наиболее подходили в своем осеннем уборе к основному эстетическому тону исполнения пьесы. У алотых берез низко свешивались плакучие ветви.

В садик от дома выходит терраска, завесочка из сурового холста с красной эламеткой. Перед забором довольно аккуратно сложены кирпичи и наваленны обрезы галавех бревен. Все несложное хозяйство, как на ладони; обособленный уток с неопределенным круговоротом прозы жизни. Остатки, без сомнения, захочется уехать, если нет сил и возможности в корень изменить обход. Так преломился в понимании театра чертвый акт.

Чехов прожил тогда на юге, поставили не видел и именьны о прова-

денных переменах ни устно, ни письменно не высказывал. Какое впечатление произвела декорация на артистов? Спрашивать об этом самому мне казалось как-то неуместным, во на беглых отзывом, брошенных на ходу, среди предостерегающей горячки, можно было судить — что нравилось. Запомнилась фраза: «В ней удобно играть». Да, по всей вероятности, удобно, потому что режиссерский камертон звучал везде: в темпе, ритме, тоне исполнения, в красках пейзажа и в домашней обстановке «трех сестер». Желанная просторность достигалась негодом было, иногда слабее, но стремление к ней всегда мной руководило. Правда, мы тогда гонялись за мелочами, но подобная «пошлость» невинности являлась вызовом казенному бездумию. Посмеивались над тем, что у нас комод непременно заставлял бездельниками «не мытые духи», что закуривание папюросов — целый ритуал из 14 движений» и т. д. А если отидеть? Потеряется та особая спенная атмосфера, над созданием которой дружно трудилась вся наш коллектив. У нас в тот период каждый предмет имел свою «душу», еще же «Синей птицы», где позднее эти души уже приняли фантастически-конкретную видность. Да, мы показали «милую-родную» театр; зрители подчас забывали, что они в театре. Она из вех нашего долгого пути, потом она осталась позади.

Постановщиком последней чеховской пьесы «Иванов» (19 октября 1904 г.) был Невморов-Давленко, он разработал декоративных планов вертелась в кабинете у К. В. В это время в Баден-Вейлере оборабалась, долгорая жизнь, тоже неучащая, но бесценно дорогая, серьезно необходимая. Не верилось, не хотелось думать, а гроб в ватине из-под устриц свидетельствовал, что Чехова больше не было. С болью думая я об утрате: утратить автору, узнать его отклик, приласкаться к его мнению, кратко, заостренному-меткому, своеобразно-загадочному мы опоздали. 20 лет незаможства. Антоша Чехонте и Антон Павлович Чехов: «Будничность», чай на печке, новые встречи, проводы ж... последняя встреча, безжизненная. Чувство большой горести вдалекалось в каждый мизок, и вся декорация сада, которую я тогда капитально, наметавалась мне с кинем, было заострен-

ным «колоритом»: усадьба Иванова точно оспаривала еще по трагической тгбелю ее элазелька. Дав свободный выход личному настроению, и влажный выдох, поблескивание ростых листьев при лунном свете пасмурных для меня выражений оплакивания невообразимой потери. В послонизации скреблась невольная боль — а ведь больше не появится ни одной строчки, написанной пером Антоша Павловича, и моей кинем не найдется уже нового материала, о котором мы мечтали. «Иванов» — безбедная мечта.

Горькое сожаление прилянуло к каждому дереву, астрадо в его сущем, свисало с его листьев. Я пошлывала калки росы изображать подвешенные к декорации блестящими хрустальными. Это был мой маленький секрет, мой индивидуальный отклик, как художника-декоратора. К улавливанию и радости а слышал востом отзывы зрителей: «Неужели мы нарочно сделали так, что сад точно плачет»? Если слыши почувствовалась и передилась, значит мой подход получал оправдание.

Для меня получалось очень странно — безбедную пьесу Чехова обыкновенно называют «Витпный сад», а мы считали, с театральной точки зрения, таким эстетическим финалом именно «Иванова». Траурный флером — после кончины писателя — окуталась наша последняя постановка чеховского пикла. Иногда в горячке стремительного труда работ чувствую горестной утраты аиду опустится на дно привычных интересов и ловишь тогда себя на мысль: «Как воспринимает автор наше разрешение давнего спенического вопроса?» — и сейчас же клонится больше ответственности воспоминание пошлого. Илья, дугухтерственная зента прососил потребальной, тинкина строгая и печальная, последний долг — быть могуче потудившим бы слабый зрел запущенную гроба. Вместе зми — свежий буторок являлся Повелевающим влаблпн в теплоте сосланных мотля. Безбедная пьеса... больше чеховская пьеса нам ставится уже не придется. «Кого-то нет, чего-то жалко»... Вот почему ивановский сад плакал.